



# НОВАЯ ПОЛЬША 4/2001

## Содержание

1. РОССИЯ НЕ БУДЕТ КАТОЛИЧЕСКОЙ
2. «НЕВОЗМОЖНОЕ НЕИЗБЕЖНО»
3. ОЧЕРЕДЬ В НЕБО
4. ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
5. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

# РОССИЯ НЕ БУДЕТ КАТОЛИЧЕСКОЙ

*о.Станислав Опеля – начальник независимого Российского региона  
Общества Иисуса (ордена иезуитов)*

---

— В русской прессе, а еще чаще в высказываниях православных иерархов звучит определение «каноническая территория православия». Какое значение вкладывают в этот термин представители Московской Патриархии и какие последствия это имеет для других вероисповеданий?

— Как правило, представители Московской Патриархии считают, что территория бывшего Советского Союза — это исключительная сфера влияния православия. При этом само понятие «канонической территории» довольно сомнительно. Ничего такого не существует. Жители Западной Европы начиная с Польши — в большинстве своем люди католического или протестантского вероисповедания. Однако ни одно из этих вероисповеданий не претендует на какую-либо свою каноническую территорию. На одной и той же территории действуют разные Церкви со своей иерархией. В том числе и православная Церковь.

Я был в Риме и встретился с Иоанном Павлом II вскоре после назначения православного митрополита Северной Италии. Папа, смеясь, сказал: «Не вижу никаких препятствий — напротив, я был бы очень доволен, если бы резиденция митрополита находилась в Риме. Тогда контакт у нас был бы лучше».

Что значит это для других вероисповеданий? Прежде всего то, что Московская Патриархия желала бы давать разрешения, а скорее — отказывать в разрешении на создание любой, даже небольшой структуры иной Церкви или конфессии. 3 марта 1992 г., на первой встрече в Женеве, католическая и православная стороны пришли к соглашению, которое обязывает их информировать друг друга о возникновении новых структур. Однако в коммюнике для прессы, опубликованном по итогам встречи, был использован довольно расплывчатый термин — «взаимные консультации». Понятие

«консультация» весьма растяжимо. Оно может ограничиваться информированием, а может означать и требование получения согласия Московской Патриархии на деятельность на этой территории. Впоследствии католическая сторона уточнила смысл этого термина в инструкции папской комиссии «Pro Russia» от 1 июня 1992 года. Инструкция объясняет, в чем должно состоять взаимное информирование. Однако это документ только католической Церкви, и практически он обязывает лишь одну из сторон. Что касается другой стороны — можно лишь выразить пожелание, чтобы все происходило именно так.

— Вы сказали, что Московская Патриархия понимает под «канонической территорией» все земли бывшего СССР. Таким образом, к ней отнесена и традиционная сфера влияния римского католичества, представленная многочисленной группой верующих, живущих на территории прежней Речи Посполитой. Как вы интерпретируете папское решение об изменении границ ряда епархий в Литве, Белоруссии и на Украине и назначение новых епископов на эти территории?

— Новое епархиальное деление в западной части бывшего СССР и назначение новых апостольских администраторов отнюдь не было продиктовано желанием Папы отмежеваться от региона. К примеру, Московская Патриархия хочет по-прежнему иметь право решающего голоса в вопросе о православной Церкви на Украине. Поэтому назначение новой римско-католической иерархии или создание новых структур епархий параллельно действиям православной Церкви. Кроме того, это создаёт хорошую почву для экуменического диалога.

Если уж говорить о диалоге, то нетрудно предвидеть долгие трудности. Термином «экуменизм» пользуются и католическая, и православная Церковь, однако понимают они его по-разному. После нескольких месяцев пребывания в России у меня сложилось впечатление, что для православной Церкви экуменизм означает ни больше ни меньше как обращение в православие. А всякая деятельность [иных конфессий. — Ред. «НП»] по евангелизации, даже ограниченная лишь вопросами веры и какими-то богословскими размышлениями, прямо квалифицируется как прозелитизм. Поэтому я полагаю, что с обеих сторон потребуется много доброй воли и много терпения, чтобы экуменический диалог действительно осуществился. Скажем, в Загорске продается «Антикатолический катехизис», репринт издания 1916 года. Конечно, подобной деятельностью в православной Церкви

занимаются лишь ограниченные, узкие круги, тем не менее есть и такие тенденции.

**— Не считаете ли вы, что взаимоотношения католиков и православныхотягощены вопросом о греко-католической Церкви и об отношении православных к униатам?**

— Униатская Церковь — проблема для всех православных, независимо от их открытости или закрытости по отношению к прочим вероисповеданиям. Для них греко-католическая Церковь — нечто вроде троянского коня. Принять назначение апостольских администраторов им не так трудно, как принять то, что функционирует униатская Церковь. Даже очень открытые люди в православной Церкви, когда дело доходит до отношений с униатской Церковью, придерживаются, мягко говоря, традиционных взглядов.

**— Как вы оцениваете визит примаса Польши в Россию и Казахстан, в ходе которого были затронуты, в частности, экуменические проблемы?**

— Мне кажется, визит примаса был важен для взаимного познания и помощи местной католической Церкви с польской стороны. Здесь по-прежнему ощущается огромная нехватка священников. Не потому, полагаю, что на территории бывшего СССР имеет место массовое обращение к религии, растет интерес к той или иной Церкви, но потому что здешние католические общины сильно разбросаны. До недавнего времени у настоятеля костела в Иркутске был, по-видимому, самый большой приход в мире — до самого Владивостока. При таких гигантских дистанциях пастырские труды заведомо малоэффективны. Священнику под силу появиться в какой-то местности за все время раз-другой. Например, в Казахстане, где я сам побывал, расстояния так огромны, что 11-12 священников просто не в состоянии посетить все малые общины верующих. Знаменитое польское село Вершина находится в 100 километрах от Иркутска. Ксендз всякий раз специально туда ездит. Если бы визит примаса мог содействовать тому, чтобы на эти территории прибыло больше священников из Польши, я думаю, одна из главных целей визита была бы достигнута. Причем лично я придерживаюсь той точки зрения, что это не должны быть исключительно польские священники.

**— Как соотносятся трудности во взаимных контактах между католичеством и православием с диалогом, начатым обеими конфессиями после II Ватиканского собора? Встречи происходят, определена некоторая область общего духовного блага...**

— Диалог между православием и католичеством содержит известного рода парадокс. Между этими двумя Церквями общего больше, чем между какими бы то ни было другими, но в то же время диалог между ними менее всего продвинут. Тому, что создалось такое положение, несомненно, способствовала позиция православной Церкви, прежде всего те ограничения, которым она подвергалась при коммунизме. Участие православной стороны в экуменических встречах часто увязывалось с обязанностью вести пропаганду режима. Не было ни одного экуменического собрания, на котором не был бы затронут вопрос о «мире во всем мире». Не было ни одного заседания Всемирного совета Церквей в Женеве, чтобы на нем не поднимали вопрос «борьбы за мир». Вот одна из причин, по которым диалог католической Церкви с православной сильно отстает от диалога с другими вероисповеданиями, в том числе и нехристианскими, например с иудаизмом.

— Как вы оцениваете деятельность отца Александра Меня? Я имею в виду прежде всего привлечение интеллигенции к православной Церкви и элементы экуменизма, содержащиеся в том, что он проповедовал.

— Деятельность отца Александра Меня имела большое значение, хотя, в общем, ограничивалась довольно узким кругом. Однако если в православии вообще есть элемент открытости по отношению к католической Церкви, то это в значительной степени заслуга отца Александра. Я поддерживаю контакт с людьми из его круга, в частности с теми, кто готовит к изданию собрание его сочинений, и ясно вижу, что с этими людьми действительно можно вести экуменический диалог, не пытаясь обратить друг друга в свою веру. После II Ватиканского собора нет никаких причин стремиться к обращению православных в католичество. У католической Церкви нет такого стремления, хотя кое-кто из православных не только полагает, что она стремится к этому, но и прямо говорит об экспансии католичества на «канонической территории» православия.

После смерти о. Александра Меня связанные с ним круги стали принимать разную направленность, внутренне разделились. Это нормальное явление. Однако я думаю, что то, что посеял отец Александр, будет давать плоды, например, в каком-нибудь центре, созданном здесь католиками, но открытом для всех инаковерующих. Прежде всего — для всех, кому близка проблема веры, проблема Бога.

— В русской прессе нередко звучат обвинения по адресу польских священников, работающих на территории СНГ, в

**том, что они занимаются политикой или ведут колонизаторскую деятельность.**

— Разумеется, в подобных утверждениях содержится большое преувеличение. И все же я считаю, что мы, поляки, должны быть особенно внимательны, чтобы служение наших священников воспринималось не как колонизация католической Церкви в России, а как евангелизация. Именно поэтому, как я уже говорил, на этой территории должны работать священники не только из Польши. С другой стороны, очевидно, что католики в России — это прежде всего представители национальных меньшинств. Главным образом польского, немецкого, частично белорусского и украинского. Эти люди хотят, чтобы богослужение совершалось на их родном языке. Вообще это довольно сложная проблема.

В Казахстане, Таджикистане, Киргизии да и в Новосибирске поляки не знают родного языка. Пользуется им только старшее поколение, хотя чаще всего и оно знает лишь ежедневно читаемые молитвы. Неподалеку от Целинограда, где я исповедовал верующих, со мной приключился забавный случай, который о многом говорит. Меня сразу спросили, могу ли я исповедовать по-польски, по-немецки, по-русски, по-украински. Я ответил, что не знаю только украинского, хотя предполагаю, что смогу догадаться, о чем пойдет речь. Так вот, исповедь происходила так: поляки говорили вначале «*Niech będzie pochwalony!*» («Слава Иисусу Христу!»), немцы — «*Gelobt*», украинцы — по-своему, а потом все переходили на русский.

Потому я думаю, что именно этот язык будет общим, даже, собственно, так оно уже и есть. Разумеется, я исхожу из того, что будут сохраняться группы, требующие совершения литургии на своем национальном языке, что вполне понятно. Однако тут проявляется очередной парадокс. Архиепископ Кондрусевич сообщил мне, что православная Церковь желает, чтобы католическое богослужение происходило исключительно на национальных языках, а не по-русски.

Все это требует от национальных меньшинств большой зрелости. К примеру, московские поляки весьма отрицательно отнеслись к тому факту, что первая месса перед костелом Свв. Петра и Павла на улице Мархлевского была отслужена по-русски. Думаю, это неправильное отношение: большинство верующих знало исключительно русский язык или, по крайней мере, владело им лучше, чем польским. Конечно, я понимаю разочарование поляков, которые помнят, что этот костел всегда был «польским», что построили его поляки. Однако в

настоящее время архиепископ не может создавать национальные приходы. Следует более всего подчеркивать универсальное, вселенское измерение католичества, так как на вселенский характер претендует как раз православная Церковь. Она стремится закрепить убеждение в том, что католическая Церковь — это Церковь польская, немецкая, украинская, французская, английская. Какая угодно — только не вселенская.

— Однако, с другой стороны, православная Церковь сохраняет церковнославянский язык богослужения, и любая робкая попытка изменить это наталкивается на враждебность Патриархии. Верно, что церковнославянский — это «*lingua sacra*», объединяющая православную Церковь, но вместе с тем он создает многие ограничения. Верующие плохо понимают архаичный церковнославянский, и, насколько я знаю, те, кто его отстаивает, делают это прежде всего по той причине, что он искони употребляется в Церкви, по приверженности к традициям. Православный, читая Библию в переводе на русский язык, имеет дело с текстом, который его Церковь не признаёт богослужебным...

— Кстати, и с переводом католических текстов на русский тоже немало трудностей, прежде всего терминологического свойства. В русском многому просто нет соответствий. Чтобы выполнить эту задачу, должен возникнуть коллектив переводчиков, специалистов, которых здесь пока нет.

В настоящее время вырисовываются две переводческие тенденции. Первая — перенять православную церковную терминологию, вторая — просто русифицировать латинскую. Думаю, у обоих решений есть свои плюсы и минусы. В польском и любом другом западном языке многие церковные термины заимствованы из латыни и даже из древнегреческого. Однако они употреблялись много веков, и потому сегодня уже не воспринимаются как иноязычные.

— Не кажется ли вам, что ведущей целью католической Церкви на территории бывшего Советского Союза должна быть новая евангелизация и прежде всего рекатехизация верующих? Католики в России, словно по примеру православных, часто полагают, что достаточно лишь некоего эмоционального «вклада», чтобы стать христианином. При этом им сложно выразить основополагающие истины веры.

— Да, это область довольно запущенная. Даже священники — я имею в виду местное духовенство — мало этим занимаются. Не только потому, что у них нет времени. Еще недавно советское

законодательство запрещало «пропаганду религии среди несовершеннолетних». Естественно, были попытки религиозного обучения вопреки запрету, но это были скорее отдельные случаи. В то же время следует подчеркнуть, что различные католические структуры сейчас пытаются наверстать упущенное. Особенную заботу об этом проявляет апостольский администратор. Уже сделаны первые шаги. Самый значительный пример — создание в Москве колледжа Св. Фомы. Одна из задач колледжа — подготовка катехизаторов. Во время поездок по бывшему Советскому Союзу я имел возможность убедиться, что некоторые учителя польского языка, в частности в Казахстане, одновременно преподают основы Закона Божия. Священники, которые понимают значение катехизации, для которых важна, так сказать, вдумчивая вера, уже поручают катехизацию монахиням и мирянам. Уровень подготовки и у тех, и у других — скромный, поэтому так важно, что здесь, в Москве, возник центр по подготовке катехизаторов, который имеет филиалы и в других городах на территории всей Российской Федерации.

Помимо этой основной катехизаторской миссии нужна катехизация в более широком значении слова. Я надеюсь, что центр Общества Иисуса в Москве сыграет в этом важную роль. Необходимо найти место, где люди могли бы встретиться, побывать на конференции, посвященной проблемам веры и религии. Такого типа центр даст возможность русским католикам и православным заметить, что католическое богословие, в противоположность православному, развила то, что мы называем социальным учением Церкви. То есть то, чего у них здесь нет и что они считают излишним. Если бы на самом деле началось гармоничное сотрудничество между православной и католической Церковью, обеим Церквям было бы чем поделиться: они могли бы познакомиться с католическим социальным учением, а мы, католики, могли бы научиться ценить молитвенную сторону веры. В православии это очень подчеркнуто, чтобы не сказать больше: временами оно ограничивается лишь молитвой, причем молитвой не вдумчивой, не медитативной, а лишь изустной.

— Кроме социального учения, могли бы в России найти благодатную почву какие-либо иные идейные течения католицизма? Я имею в виду христианский персонализм, философию ценностей, вообще всю ту идейную сферу, которая в Польше представлена кругом «Тыгодника повсехного», журналов «Знак» и «Вензь».



— Несомненно. Хотя должен сразу оговориться, что речь идет об узком круге восприятия. Центр Общества Иисуса в Москве, а в дальнейшем, возможно, и в Новосибирске, безусловно, создается с ориентацией на университетскую среду. Образованные люди очень нуждаются в контактах с западной философией и западным богословием. Надо отдавать себе отчет в том, что это будут скорее небольшие группы.

Не стоит впадать в иллюзии. Католическая Церковь в России всегда будет Церковью меньшинства. Кроме того, сознание людей на этой территории сформировано православием — это касается и католиков. Поэтому не следует просто импортировать западные формы религиозного культа. Местным католическим общинам нужны формы религиозного выражения, соответствующие складу ума и чувствам живущих здесь людей. Формы, которые как бы произрастают из местной почвы. Ясно, что многие формы в католической Церкви имеют вселенский характер и не следует их менять, но есть множество нюансов, которые позволят не ущемить гордости этих людей, гордости, которая и без того часто перерождается в националистическую ограниченность и ксенофобию. Республики бывшего Советского Союза неизбежно должны пройти через эту фазу. Они должны вдоволь нарадоваться своей свободе и суверенности...

— А населяющие их народы — обрести свой национальный облик. Как вы оцениваете положение в католической Церкви, действующей на этой территории, с точки зрения постановлений II Ватиканского собора? Не кажется ли вам, что коль скоро и в Польше остается сделать еще очень многое в этой сфере, то уж здесь-то придется начинать с самого начала? Как местная католическая Церковь могла бы трансформироваться из иерархической в Церковь всех верующих?

— Я сформулировал бы это несколько иначе. Речь о том, чтобы, не ограничиваясь лишь институциональной формой католицизма, развить чувство причастности к Церкви. В этой области еще многое предстоит сделать — кстати, не только в России. Надо отметить, что на территории бывшего СССР налицо довольно широкая дифференциация, если сравнить различные действующие здесь католические центры. Там, где удалось сохранить преемственность веры, она перегружена традиционными средствами проявления религиозности, молитвами типа розария, литании, вечерни. Все остается так же, как было до II Ватиканского собора, и нередко сводится к этим формам. Хочу решительно подчеркнуть, что я не

критикую, а описываю фактическое состояние. Нередко те самые формы, которые позволили сохранить веру, становятся своего рода бременем, особенно для молодежи.

Я считаю, что не надо с водой выплескивать и ребенка, перечеркивая традиционные религиозные формы, как это делают некоторые священники из Польши. Больше пользы будет, если эти формы обогатить новыми, вводя их с ориентацией на молодое поколение. Я имею в виду формы не только более привлекательные, но прежде всего воспитывающие. В Иркутске не было бремени традиций. Служащий там священник приступил к работе с людьми образованными, перед которыми проблема веры встала как проблема личная. Этот священник может — хотя не знаю, решится ли, — вводить новые формы проявления веры. В других местах сделать это гораздо труднее.

Приведу почти анекдотический пример. В одной деревне под Целиноградом священник призвал верующих по пятницам соблюдать пост, воздерживаться от мясной пищи. Одна из присутствовавших женщин, полька, упрекнула священника в неосведомленности: ее учили, что поститься надлежит по средам, пятницам и субботам. Она — свое, а ксендз — свое. Думаю, так они и расстались, не переубедив друг друга, на основании чего можно полагать, что еще некоторое время в католической религиозной жизни на этой территории будет сохраняться некоторая двойственность. Это касается в основном польских и немецких общин. В некоторых азиатских приходах немецкие священники не позволили установить алтари лицом к прихожанам. Иногда это следствие традиции, а иной раз — прямо традиционализма. Представитель литовских иезуитов специально ездил в Среднюю Азию, чтобы убедить одного из местных приходских священников, что II Ватиканский собор не был еретическим. У этого священника были отчетливые лефевристские настроения [французский кардинал Лефевр, ныне покойный, возглавил французских католиков-традиционалистов, не признавших ряда решений собора. — Ред.], и в этом духе он воспитал прихожан. Некоторые священники, руководствуясь своими пристрастиями, сумели, например, убедить верующих в том, что священник, который курит табак, совершает самый тяжкий грех, какой вообще может совершить духовное лицо.

— Много говорят о религиозном возрождении в России. Действительно ли это явление столь широкомасштабное и глубокое, как это представляет западная печать? Я сам сталкивался скорее с безразличным отношением к религии,

**независимо от того, кем называл себя мой собеседник — православным, мусульманином или иудеем.**

— Это безразличие — одно из последствий коммунистического периода. Мне не кажется, что сейчас есть основания определять то, что происходит на территории бывшего Советского Союза, как религиозное возрождение. Да, конечно, люди принимают крещение, но вероисповедная практика оставляет желать много лучшего. Это относится и к Польше. Очевидные деформации в сфере нравственности — результат опустошений, произведенных коммунизмом. До войны поляки так не воровали, как сейчас. Во времена коммунизма кражи на производстве оказались возведены в ранг национальной добродетели. То же самое, если не хуже, — в России. Другая проблема, о которой мне говорят русские, — вопросы половой этики супружеской жизни, аборты. Этика труда деградировала. Должно пройти время, прежде чем люди поймут, что верить — значит жить по законам веры.

*Беседу вел Мариуш Сельский*

*(печатается с сокращениями)*

**«WIEŻ»**

## «НЕВОЗМОЖНОЕ НЕИЗБЕЖНО»

Всякий поэт — священнослужитель. Он ищет связи с неведомым, принимает тяжесть мира и разделяет его боль. У Яна Твардовского — поэта, который в 33 года стал священником, — это единство особенно крепко и гармонично. Ему, выпускнику естественно-математической гимназии, университетскому филологу, солдату Армии Крайовой, путь указала война: на фоне горя теряло смысл все, кроме веры. Таким, как он, нет покоя. «Господи я не достоин сна» — он просит бессонницы, чтобы больше успеть. Поэзия Твардовского созвучна его деятельной человечности. Он — воин-добротворец, ратник божий.

Сразу после рукоположения Твардовский был законоучителем в школе для детей-инвалидов — физически обделенных, но духовно зрячих. Его испытующий взгляд — это и взгляд ребенка. Есть у Твардовского книга стихов, иллюстрированная детскими рисунками. И эти картинки — более чем впопад. Он ведь и сам «верит Богу как дитя». И сам, как дитя, изумлен и восхищен чудом жизни, доверчиво благодарен необъятному миру. «Знаки доверия» — называлась одна из первых книг отца Яна. «Не бойся любить», «Не грусти» — не устает он призывать другими книгами.

Его поэзия раскрывает подлинную жизнь — без иллюзорных и суетных целей. Мягко, с улыбкой, словно невзначай, мимоходом, он, говоря о простом, приобщает к сокровенному. Не пугает риторикой, не поучает, не давит архаизмами. Это стихи вполголоса, вне патетики. Они не врываются, а тихо и прочно входят в душу. Поэт мыслит конкретно и афористично, обходится без «высоких каблуков метафор». Его заботит правда. Он — из тех, кто творит новый язык религии. Вот то самое дело, без которого вера мертва.

«Я пришел не затем чтобы вас обратить в свою веру» — так он назвал свое избранное. Вот уже скоро три четверти века он «еретически» пытается религию мирскими парадоксами. Богословие и все, что с ним связано, — для него лишь часть реальности: даруя читателю-прихожанину духовное укрепление, он не требует от него ни единомыслия, ни аскетизма. Поэзия Твардовского лукава, стоически мудра и неоднозначна. Не только пастырь, отец-наставник, но и

грешный, страдающий человек, он воспитывает красоту души, заражая тем, как сам видит мир.

Поэзия — общий дар, говорит Твардовский. Это слово «ничье и для всех», «пространство, в котором каждый мог бы отыскать себя». Особость его почерка — в возвращении к евангельской простоте. Крупный, сильный образ, действенная недосказанность — стиль Твардовского-поэта. Он не приемлет выпренности. Владея всеми оттенками слога и звука, он выбирает строгую свободу верлибра. Несомненно, среди польских священнослужителей (не исключая и Кароля Войтылы) это самый неожиданный поэт, способный удивляться и удивлять.

«Научи меня быть меньше малого» — его заветная просьба. Он чужд тщеславия. Но книги Твардовского выходят огромными тиражами. О нем написано множество ученых статей. В контексте всеобщего признания и почитания значим лейтмотив его поэзии — мысль о тщетности толкований слова: «Бога легче всего найти / когда не пишешь о Боге». Веру не подменить знанием: «Бог слишком велик, чтоб уместиться в голове». Поэзия Твардовского — выражение христианства, освобожденного от того, что он назвал «терроризмом понятий». Он не излагает догмы, не истолковывает мир, но — опознаёт его. Не создает знаки веры, а — верует. «Веровать значит верить / и когда чудес не бывает»: прозревшему не нужны аргументы.

Отец Ян Твардовский говорит о себе, что он не поэт, а «ксендз, который пишет стихи». Слову «поэзия» он предпочитает слово «стихи»: оно ближе к земле, «не задирает носа и ходит пешком». Дерево его поэзии корнями прорастает в пульсирующую ткань жизни. В вертограде земном на всякой твари отблеск благодати и все достойно имени. Оттого поэт так тщательно подробен в запечатлении бытия. Для него Бог — не только Бог человеков, но и кленов, незабудок, божьих коровок, скворцов, поросят... В пестроте природы раскрывается мир, выражающий волю Творца.

Поэт, замороженный драмой жизни, смиренно и благодарно прикасается к тайне творения. Заповедь Яна Твардовского — «писать такие стихи, которые помогают улыбаться и любить». По его разумению, поэт призван видеть мир ясно — не в трагическом конфликте, а во взаимодополнении противоположностей. Зримое определяет грань незримого, и лишь в парадоксе постижимо то, что превыше разума. «Вера непрочна / когда нет неверия». «Даже Бога который был бы

похож только на Бога / не существует». Так в полноте видения сближаются сущности, разлученные логикой.

Совпадение имени поэта с именем легендарного «польского Фауста», чернокнижника Яна Твардовского, похоже на уравнивающую антитезу. Не гордыней и ревностью, не оккультными экзерсисами — но любовью, отзывчивостью, человечностью своей священник и поэт участвует в вечном чуде возрождения добра. Его работа на земле — заклятье мрака. Здесь глубочайшее смирение перед тайной в сочетании с неумной пытливостью. Здесь ключ ко многому, что кажется трагически неразрешимым. И даже: «Слава Богу есть смерть / чтоб нам узнать еще больше».

Поэзия Твардовского учит радоваться каждому мигу бытия и примечать знаки вечности, готовит душу к встрече с неведомым. Прощая человеку слабость, поэт напоминает: «Главное в жизни — не мешать Богу действовать через тебя». Везде на пути своем он встречает «улыбку Господа Бога», все у него пронизано мягким юмором нежданных сопоставлений. На его лице невозможна гримаса желчной иронии. И точно так же в его стихах нет ханжеской набожности, «формального» христианства. Им чужда клерикальная риторика.

Его стихи — запечатленное созерцание, молитва, сердечный разговор, по-детски искренний и простодушный. Это, по словам С.Аверинцева, стихи «умные и в то же время тихие, наделенные завидным иммунитетом против позы и фразы». Они адресованы всем, кто умеет удивляться, — верующим и неверующим (а веруем ли мы — знает только Бог). За пеленой внешнего Ян Твардовский видит вечную драму выбора. Он не дает забыть, что по вольной воле каждый может либо стать собою, либо предать себя. Вечность всегда с нами, говорит поэт, надо только жить, помня об этом, тогда и откроется то «невозможное», которое «неизбежно».

...Честь Вам и многая лета, дорогой отец Ян. Будьте здоровы, и пусть Ваш маленький сад посреди камней города расцветает и радует Вас, как радует и укрепляет многих Ваше слово.

Ян Твардовский

# ОЧЕРЕДЬ В НЕБО

Стихотворения Яна Твардовского в переводе на русский язык составили внушительную часть книги «Польская поэзия: XX век. Антология». [Т. 1.] Вислава Шимборская, Ян Твардовский, Збигнев Херберт, Тымотеуш Карпович, Томаш Глюзинский. М.: Вахазар, 1993. – (Коллекция польской литературы.) Большая часть текстов приводится по этому изданию. Стихотворения, отмеченные\*, впервые публикуются в русском переводе. (Ред.)

\*

\*      \*

## Сходство

Эй любовь похожая только на любовь  
правда похожая только на правду  
счастье похожее на счастье  
смерть похожая на смерть  
сердце похожее на сердце  
мальчишка у которого рот до ушей  
похожий на меня каким я был когда-то  
перестаньте вы наконец валять дурака  
даже Бога который был бы похож только на Бога  
не существует

## Уверенность в неуверенности

Спасибо Тебе за то  
что Ты не договаривал недосказанного  
не заканчивал неоконченного  
не доказывал недоказуемого  
Спасибо Тебе за то

что Ты был уверен в том что ни в чём не уверен  
верил в возможность невозможного  
и не знал ответа на вопрос что дальше  
спасибо за то что слезы Тебе подступали к горлу  
за то что Ты был такой как есть  
и не сказав ничего столько сказал мне о Боге

### **Очередь в небо**

Не всё сразу  
сначала ты должен казаться святым  
но не быть им  
потом ты не должен ни быть  
ни казаться святым  
а в самом конце — стань святым  
но не подай и вида  
только тогда  
ты будешь похож на святого

### **Справедливость**

Если бы у каждого было по четыре яблока  
если бы каждый был силен как бык  
если бы все были одинаково беззащитны в любви  
если бы у каждого было то что есть у другого  
никто никому не был бы нужен

Спасибо Тебе за то

что Твоя справедливость в неравенстве  
то что есть у меня и то чего нет  
даже то что мне некому дать



всегда кому-нибудь нужно  
ночь существует чтобы наступил день  
тьма чтобы светили звёзды  
есть последняя встреча и первая разлука  
мы молимся потому что другие молчат  
умираем за тех кто умирать не хочет  
любим потому что у других остыло сердце  
и если одно приближается к нам другое от нас всё дальше  
неравные нужны друг другу  
вместе легче понять что каждый существует для всех  
легче увидеть целое

### **На фоне боли\***

На фоне боли  
на фоне крови стекающей в ров  
на фоне ребёнка умершего от голода  
Христа которого прикладом гонят в лагерь  
как вульгарна красота  
как аморальна церковь с изящным букетиком на алтаре  
как беспардонны  
рифмованные  
гладко прилизанные  
стихи

### **Не надо**

Не посыпайте религию сахаром  
не подчищайте ластиком  
не обряжайте в розовые тряпки

ангелов парящих над войнами  
не отсылайте верующих к лазейкам комментариев  
Я пришел за утешением — не за тарелкой супа  
хочу наконец преклонить голову  
у камня веры

### **Раскаянье отшельника**

Я был так занят собой ждал  
чтоб никто не пришёл ко мне  
всегда просил только один билет — для себя  
мне даже сны не снились  
ведь спят для себя а видят сны для других  
я плакал непрофессионально  
для плача нужны два сердца  
Бога защищал так рьяно что дал по морде человеку  
думал у женщины нет души а если есть то три четверти  
в сердце устроил тайную радиостанцию  
передававшую только мою программу  
приглядел себе малометражку на кладбище  
начисто забыв что в небо возносятся парами а не гуськом  
даже скромняга ангел и тот не стоит отдельно

### **Верю**

Верю в радость ни с того ни с сего  
в ангела падшего с неба чтоб  
поиграть в снежки  
в сердце которому нужно всё и еще  
чуть-чуть

верю в улыбку  
над тем кто придумал конец концов  
а потом ещё спрашивает «зачем» и  
«что дальше»  
в мать исчезающую за калиткой сада  
в истинного Бога  
чьё бытие не требует доказательств  
в Бога который терпеть не может о  
себе теорий

### **Больше ничего**

«Бог мой» написал он. И  
зачеркнул подумав  
настолько же мой насколько я  
эгоист  
Написал «Бог людей» но  
прикусил язык вспомнив  
что ещё есть ангелы и камни  
похожие в снегу на зайцев  
Наконец написал просто «Бог».

### **Больше ничего**

И то написал слишком много

### **Святой недотёпа**

Он любил — никто не хотел его  
спешил — но никто не ждал  
он стучался — открывал другой  
бежал распахнув своё сердце — дорога оборвалась

он всё тосковал о ком-то у калитки сада  
— не любит плюнет пошлёт  
гадали ему по ромашке  
и было вокруг так пусто  
будто только ради приличия  
мир ему обронил  
во веки веков аминь

### **Приятно\***

Приятно встретить старую беду  
— слушай старуха — сказать  
— да что с тобой такое  
похорошела  
не хлюпаешь носом  
уже не похожа на чёрта хмурого от рожденья  
раны затянулись  
дожди тебя приумыли  
в этакую ведьму и влюбиться недолго  
пока сам живой

### **Спасибо\***

Спасибо Тебе за то, что у Тебя были руки, и ноги, и тело  
за то, что Ты был дружен с грешной Магдалиной  
за то, что Ты взашей прогнал торговцев из храма  
за то, что Ты не был числом равнодушным и совершенным

# ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Можно спорить о том, когда точно закончился пээнеровский эпизод в истории Польши: одни назовут 4 июня 1989 г., когда прошли выборы в Сейм, другие — 22 декабря 1990 го, день, когда Рышард Качоровский передал Леху Валенсе президентские регалии, хранившиеся в эмиграции. Но одно не подлежит сомнению: с концом ПНР сопряжены важные перемены не только в политической, но и в культурной жизни Польши. Прежде всего кончилось разделение (особенно тягостное в литературе) на отечественное и эмигрантское творчество. Другой важный знак перемен — отмена цензуры. Наконец третий, тоже существенный фактор культурной жизни — возрождение провинции, а тем самым — децентрализация.

Как обычно в таких случаях, и критика, и читающая публика ожидала, что литература неким особым образом откликнется на перемены в общественной жизни. Не случайно на страницах литературного журнала «бруЛЬон» («черНовик»), возникшего в независимом издательском деле еще в середине 80 х, разгорелась дискуссия, лозунгом которой стал вопрос: «Не новые ли скамандриты?» Вопрос потому не случайный, что именно поэтов «Скамандра» считают теми, чье творчество после 1918 г. открыло историю литературы независимой Польши. После 1989 го часть критики сочла такой группой именно писателей, сплотившихся вокруг «бруЛЬона», редактируемого поэтом Робертом Текели. В начальный период деятельности эти писатели бунтовали как против того, что можно назвать речью официальной, так и против того, что отличало речь оппозиционную: чрезмерная насыщенность политикой, идеологизация обеих сфер культурной жизни — и официальной, и подпольной — раздражала молодых, провоцировала на шутовство, заметное и в их литературных произведениях, и в деятельности таких групп, как вроцлавская «Оранжевая альтернатива», чьи хэппенинги осмеивали не только власть, но и порой сверх меры напыщенное «ветеранство» «Солидарности».

После 1918 г. скамандриты, говоря словами Яна Лехоня, декларировали, что весною им хочется встретить весну, а не

Польшу. Подобной реакции ожидали и от молодых писателей после 1989 го. И действительно, во многих младопоэтических выступлениях декларировалось отмежевание от политической и исторической проблематики. Молодые не хотели Польши, не хотели политики, не хотели истории. А поскольку все внимание критики было сосредоточено именно на молодых, критика решила — похоже, поторопившись, — что вся современная литература от современной Польши отвернулась, занялась личными, частными делами, что самое существенное для нее — не великие общественные и идейные проблемы, а познание малой родины и демонстрация независимости от всего мира. Словно подтверждением этого диагноза стало опубликованное в «бруЛьоне» стихотворение-манифест трех Мартинов: Барана, Сендецкого и Светлицкого, в котором они отвечали старшему коллеге-поэту, сетовавшему, что они отделились от больших вопросов, прямо и жестко: «за окном ни х... нет идей». Демонстрации или скорее ребяческие выпады такого типа, с использованием вульгаризмов, желание морально шокировать — подобно, к примеру Мануэле Гретковской, снабдившей героиню своей прозы двумя клиторами, — вызывает ассоциации не с 1918 годом, а скорее с манифестациями младопольской литературы рубежа XIX-XX вв., которая первоначально ставила одной из своих целей вызвать шок у «мещанина». Вот только на нынешних «филистеров» эти избитые приемы впечатления, пожалуй, не производят. Точно так же не потрясла ни широкую публику, ни тем более профессионалов вышедшая в 1991 году антология молодой поэзии под названием «przyszli barbarzyncy» (то есть и «варвары пришли», и «будущие варвары»).

Дело, в частности, в том, что сегодня настоящих филистеров уже нет. Или — еще нет. А потому и «варвары», которые вроде бы должны им угрожать, попадают не в цель, а мимо. Старшее поколение, кажется, более точно оценивает ситуацию. Тут хороший пример — с одной стороны, поэзия Тадеуша Ружеви́ча, а с другой — проза Тадеуша Конви́цкого, прежде всего роман «Чтиво», которым этот выдающийся писатель приветствовал обретение независимости. В обоих случаях мы имеем дело с изображением деградировавшего мира, лишенного внутренних связей, атомизированного. Современный сад, где можно встретить Сына Человеческого, в стихотворении Ружеви́ча выглядит ужасающе:

*я увидел его в парке*

*между голым деревцом*

*привязанным к колышку*

*жестянкой от пива*

*и гигиенической прокладкой повисшей*

*на кусте шиповника*

*(«Я видел Его»)*

В этом мире Сын Человеческий — ханыга со свалки, лежащий на скамейке в парке, — вызывает отвращение:

*я уходил в замешательстве*

*ретировался*

*бежал*

*дома я умыл руки*

Герой стихотворения повторяет жест Пилата, он не хочет принимать на себя ответственность за этого человека, отворачивается от него, бросает его, поскольку приходит к выводу, что

*человек — это несчастный случай*

*отход производства*

*природы*

*человек*

*это ошибка*

— а пользуется этот человек «словом которое лжет/ калечит заражает». То, что когда-то имело форму и цвет — а оно имело форму и цвет в мире ушедшем, каким он был до рождения современности, — теперь превратилось в бесформенную магму, в размазанное нечто, уже известное нам по роману Ежи Анджеевского «Месиво». Просто теперь, когда лопнули связи системы, которая прежде маскировала реальность, убожество человечества обнаружилось во всей своей полноте.

Именно так, а не иначе выглядит мир и в романе Конвицкого. «Чтиво» провоцирует уже самим своим названием.

Повествователь словно говорит нам: вы не хотите литературы, и она вам не нужна, довольно с вас и чтива. И Конвицкий пишет свое чтиво, историйку с приключенческим сюжетцем, с вплетенным в него любовным романом, с маленьким «польским адом», а происходит все на фоне пейзажа самого

большого в Европе базара возле варшавского Дворца культуры и науки, в мире, обратившемся в ничто, лишенном структуры, в мире, где нет ни склада, ни ладу: такова реальность, возникшая после коллапса прежней системы.

Здесь доминирует ничтожество. Как пишет Ружевич:

*молодые не знают*

*где очутились*

*где Рим где Крым*

*(о! бя! где бабки?)*

*(«на окраине поэзии»)*

Оба писателя вписывают это разведывание современности в определенную картину, истоки которой лежат еще в межвоенном периоде, во времени до свершившегося апокалипсиса, в той эпохе, когда система ценностей казалась стабильной, а общество могло само в себе разобраться. Ныне самосознание человека расшатано, система ценностей подверглась распаду, размыванию. Нет ничего удивительного в том, что Мартин Светлицкий, один из самых известных поэтов, дебютировавших около 1989 го, пишет, что новая эпоха, которая порождена недавним прошлым, — это «концентрационный сад». Что означает этот термин, насколько он описывает сознание тех, кто вошел в сознательную жизнь в конце 80 х?

После 1989 года, и даже раньше, в литературе, особенно в дебютантских поисках, проявились две позиции, первую из которых можно определить как отход от общественно-политических проблем, а вторую — как стремление к переоценке этих проблем. Дело в том, что польская действительность — по разным причинам: из-за цензурных запретов, но также и из-за отсутствия дистанции по отношению к происходящим событиям — не была литературой вполне разведана и названа. Это касается буквально всех возможных областей: как психологического шока, вызванного испытаниями войны, так и драмы выселений и депортаций; как последствий перемещения границ, так и того факта, что было полностью замещено население во многих местах, особенно в крупных агломерациях, что повлекло за собой изменение их облика. Надо помнить, что после войны мы заселяли территории, «оставшиеся от немцев» и «оставшиеся от евреев», переживали трагедию утраты родных земель на



востоке и что (быть может, кроме Познани и Кракова, где прежние жители преобладали) миграции населения вызвали огромные перемены в характере больших городов: одна только послевоенная Варшава — это 80% пришлого населения.

Говорить обо всех этих вещах литература либо не могла, либо не умела. Об утрате на востоке говорить было нельзя — во всяком случае нельзя было говорить об этом прямо. Поэтому герой романа Конвицкого, чувствуя себя чужим в пространстве, центр которого обозначен громадой Дворца культуры и науки, кружа в «Малом апокалипсисе» вокруг этого дворца, вспоминает утраченные пейзажи Новой Вилейки и Вильны, но призывать их может только во сне, в бреду, в неясных видениях. Прямо говорить об утрате писатель начнет лишь на более поздней стадии — в книгах, изданных уже после 1989 г.: «Чтиво», «Бохинь», «Утренние зори», «Памфлет на самого себя».

Но тему эту поднимает не только Конвицкий. Мы находим ее в известном, весьма реалистическом романе Тересы Любкевич-Урбанович «Божья подкладка», где автор критически наблюдает прошлое (роман экранизирован в телесериале Изабеллы Цивинской). Обнаружим мы ее и у писателей более молодого поколения: в повести Александра Юревича «Лида», получившей премию Чеслава Милоша, в стихах Павла Хюлле, в произведениях Казимежа Браконецкого, Збигнева Доминяка или Тадеуша Жуковского, который в стихотворении «Элегия о путешествии на восток» пишет:

*За окнами вагона монотонный*

*балет сосен, берёз и несжатых хлебов*

*(...)*

*Мама, не возвращаешь ли ты меня,*

*чтобы еще раз родить?*

*Вместе с нами в прошлое прибыло небо,*

*и земля та же самая; только пчёлы*

*русского языка иначе носят*

*пыльцу слогов.*

*(...)*

*За окнами автобуса —*

*Радунь. И застыл балет пейзажа.*

*Над горизонтом верных деревьев, как руки,*

*возносит каменные башни костёл моего крещения.*

*Конец путешествия на кресы?*

Ответ на этот вопрос неизбежно сложен. Пейзажи утраченных земель, некогда составлявших важный элемент культурного ландшафта Речи Посполитой, никогда не исчезнут из коллективной памяти, ибо в них укоренены поэзия романтиков, проза Сенкевича, творчество Ивашкевича (ограничимся лишь этими примерами). Вопрос в том, как с этими пейзажами дальше жить, не разжигая вражды, не пробуждая призраков прошлого: в конце-то концов эта проблема важна не только с литературной точки зрения. Вопрос о том, конец ли это путешествия «на кресы» (бывшие восточные окраины Польши), — с этой точки зрения, вопрос принципиальный, потому что он связан с отношением к восточным соседям нашей страны, которые нередко усматривают угрозу в самом использовании понятия «кресы». Однако публикаций на эту тему немало — достаточно назвать хотя бы замечательные «Кресы» Яцека Кольбушевского в серии «Это и есть Польша». Так сохранять ли по-прежнему этот термин, уже исторический, но глубоко укорененный в польской литературе, или говорить лишь о «литературе порубежья»?

Вопрос этот — не только теоретический, он находит зеркальное отражение в целом созвездии произведений, посвященных узнаванию и называнию территорий на западе и севере Польши. Упомяну в этой связи гданьские романы Павла Хюлле «Вейзер Давидек» и Стефана Хвина «Ханнеман», вступающие в диалог с немецкой литературой, описывающей утраченные пейзажи на востоке, а также мифологический нижнесилезский роман Ольги Токарчук «Дом дневной, дом ночной», верхнесилезские книги — «Два города» Адама Загаевского и «Дом, сон, детские игры» Юлиана Корнхаузера, щецинскую прозу Артура Даниэля Лисковацкого и Инги Ивасюв, наконец, творчество Эрвина Крука, связанное с опытом обживания Вармии и Мазур (в частности «Мазурскую хронику»), или поэзию авторов из культурного содружества «Боруссия» в Ольштыне, поднимающих проблему наследия прежних обитателей Восточной Пруссии. Среди авторов «Боруссии» — такие имена, как Казимеж Браконекский, Збигнев Хойновский,

Алиция Быковская-Сальчинская, в чьем стихотворении «К историку» читаем:

*а в конце остается*

*ничья земля*

*земля истерзанная*

*словно маленький*

*только что искалеченный*

*бог*

Уже две эти группы произведений: посвященных проблематике утраты и проблемам наследия людей, которые покинули территории, отошедшие к Польше, — показывают, насколько сложен узел проблем общественного самосознания, с которыми сталкивается литература после 1989 года. И если Анджей Завада назвал книгу своих эссе «Бреслав», соединив в заглавии немецкие и польские знаки истории города, то это указывает и на открытость позиции, готовность к диалогу с прошлым, и на устремленность в будущее, которое должно стать сферой общности, а не разделения и тем самым определить европейское измерение польского опыта.

Может показаться, что появление именно этой проблематики лишь после 1989 г. — это своего рода парадокс. Его невозможно объяснить только прежними цензурными ограничениями. Конечно, и раньше эта тема, урезанная и сведенная до минимума, появлялась в творчестве таких авторов, как Корнель Филипович, Тадеуш Ружевич, Влодзимеж Одоевский или Катажина Суходольская. Однако это были отдельные произведения, не собранные в отчетливое целое. Сегодня, когда обретает голос поколение писателей, выросших при новой действительности, тематика укоренения в новых пейзажах становится своего рода необходимостью, отвечает на вопрос о собственном месте человека на земле. Чтобы понять, каково это место, надо обратиться и к прошлому, разобраться с накопленным наследием, определить свое к нему отношение — тем более что из-под осыпающейся штукатурки все еще проглядывают надписи на иных языках.

Но это не единственный подход, который можно обнаружить в новейшей литературе. В ней раздаются и голоса, которые явно отмежевываются от этой проблематики, скажем, как в стихотворении Милоша Беджицкого «Ашьлоп», которое было знаменитым в начале 90 х. Название стихотворения — это

слово «Польша», записанное наоборот. Но тут важна не Польша, а жизнь, погруженная в поток «мнимых красот»:

*жизнь, эпопея распада тела!*

*ты уж думал, всё наконец вошло*

*в гладкую колею, а тут — в зеркале*

*щерится двойной подбородок. Отец*

*твердит, что на пороге тридцати я должен*

*прекратить писать, иначе стану*

*«таким же м...ком, как Херберт», но как тут не*

*творить мнимые красоты, когда каждым*

*нервом ощущаешь, как дрябнет основа*

Вот именно: жизнь, бренность, экзистенциальная драма, которой противопоставлен созидательный жест, — все же темы более существенные, нежели «Польша» или «Ашьлоп», которые, в сущности, не имеют значения, поскольку и так «в конце остается ничья земля».

Почти тридцать лет назад Ян Блонский писал в очерке «Поляк — каким его видят и как он о себе мечтает»: «А что же она вообще такое, эта литература, если не образ поляка и польского духа? Более того — она представляет собою такой образ даже тогда, когда ничего подобного не предлагает». Эта универсальная формула позволяет всегда относиться к литературе как к зеркалу национального самосознания. Но единственного ли типа самосознания? Всегда ли понимаемого одинаково? Наверняка нет. В конце концов, одно дело — польский дух у Гомбровича, другое — у Конвицкого, а третье — у Казимежа Брандыса.

А как-никак эти писатели сознательно ставили польское начало в центр своих интересов. Гомбрович даже хотел, чтобы его произведения содействовали изменению польского духа, тому, чтоб преодолеть его «провинциальность» и «косность». Милош в «Поэтическом трактате» писал об историчности, которая нам «суть уничтожает», словно желая, хоть и не был тогда до конца в этом уверен, вызволить польский дух из-под гнета истории. Вот только история эта по-прежнему имела право решающего голоса, ибо она в конечном счете решала, кто такие поляки и кем бы они хотели быть. Так что когда Милош

Беджицкий в нынешний переломный период требует оставить позади страну «Ашьлоп», Польшу, прочитанную задом наперед, такой жест столь же значим, как и метафора из стихотворения Мартина Светлицкого, говорящая, что новые пространства польской жизни — это «концентрационный сад». Но, с другой стороны, для героя последнего романа Парницкого «История о трех метисах» (1992) возвращение в Польшу — одна из основных жизненных проблем.

В историю погружены крупнейшие романы старших писателей последнего десятилетия: «Автопортрет с женщиной» Щипёрского, «Горизонт» Мысливского, «Остров палача» Терлецкого. С историей и ее влиянием на современность бьются герои «Оксаны» Одоевского. Историчностью пронизаны последние произведения Герлинга-Грудзинского. История, весьма специфически понятая, укорененная в романтическом переломе, определяет самосознание повествователя в цикле мицкевичевской прозы Ярослава Марека Рымкевича. Урок, преподанный Мицкевичем, велит ему произнести в комментарии к стихотворению «К матери Польше»: «Это стихотворение, которое всего лишь говорит: вы должны знать, где живете. Политики и их наемники-журналисты — обманывают поляков, утверждая, что им больше ничего не грозит. Но Мицкевич предостерегает». И действительно, вера в то, что история остановилась, опасна и неразумна. Но должен ли из этого вытекать катастрофизм?

Когда эти вопросы ставятся сегодня, они звучат иначе, нежели двадцать лет назад. И по-другому отвечает на них литература, которая, хочет она того или нет (а иногда демонстративно не хочет), всегда вписана и в ближайшую, и в отдаленную традицию, и вполне очевидно, что то, как литература видит Польшу и поляков, зависит от определения, прочтения пространства, в котором реализуется польский дух. Следовательно, можно сказать, что эта литература заново разведывает свое место на земле. Больше, чем прежде, она отдает себе отчет в многомерности польского начала и определяет его по отношению к собственной «провинции», к новой государственности, к глобальному миру и многокультурной истории. И если еще недавно Марцель Райх-Раницкий, «патриарх» немецкой литературной критики, порицая познавательную активность польской словесности, восклицал, что она воспекает деревню и захолустье, то до известной степени он был прав. Да, это деревня, но деревня, известная по работам Мак-Люэна, — деревня глобальная, которая, независимо от своего положения на карте мира, всегда составляет его центр. С «захолустьем» у нее мало общего.

Такой же деревней предстает Нью-Йорк в драме Януша Гловацкого «Антигона в Нью-Йорке» и тот же Нью-Йорк в рассказах Изабеллы Филипяк из книги «Смерть и спираль». Такая же деревня — мир «Галицийских рассказов» Анджея Стасюка и пространство последних произведений Ольги Токарчук. Такова Варшава у Магдалены Тулли и Париж в эссе Кшиштофа Рутковского. Все это многокультурные пространства, имеющие богатую и разнородную традицию, подобно Гданьску Павла Хюлле и Стефана Хвина, Щецину в романе Лисковацкого «Eine Kleine», Вармии и Мазурам в творчестве Казимежа Браконецкого, Гамбургу в прозе Януша Рудницкого или местностям, о которых идет речь в стихах Яцека Подсядло и рассказах Наташи Герке. Современный поляк — это (если воспользоваться названием популярной книги Мануэлы Гретковской) «Световидец». Он везде дома, а если он живет в маленьком провинциальном городе или деревушке, то чувствует себя «гражданином мира», свободным от комплекса «провинциализма», потому что знает, что его провинция не отличается от прочих: знает, что на земном шаре, хотя бы по причине его формы, никакого привилегированного центра — нет. И хотя это знание не всегда артикулировано, все же оно сильно укоренено в литературе, особенно в творчестве молодых авторов. «Львов — везде», как еще в 80-е годы написал в известном стихотворении Адам Загаевский. Войцех Венцель обнаруживает на поэтическом пути тождество своей провинции и пространства Святой Земли.

Будучи «гражданином мира», герой этой литературы не отказывается от своего облика, хотя, быть может, понимает его иначе, нежели его предшественники. Это важно, поскольку в произведениях последнего десятилетия можно прочесть стремление переопределить, заново очертить формы польского духа. В этой литературе сказывается кризис прежних самоопределений, причем, по-видимому, кризис этот имеет позитивный характер: это поиски новой формы польского начала. Не то чтоб это было явлением совсем уж новым. Эдвард Бальцежан обращал на него внимание еще в 80-е годы, когда, размышляя о поэзии Яна Польковского, писал: «Поэт (...) стремится сообщить о своем жадном интересе к Польше, он наркотически погружен в польскую тему: Польша — его частная жизнь, его самочувствие». Изменилось ли что-нибудь с тех времен?

Безусловно, укрепились «приватность» ощущений. Можно даже рискнуть и сформулировать тезис о том, что чувство сопричастности, которым герой этой литературы окружает «свое» сообщество, менее обусловлено национальными

детерминантами, нежели личными связями, неким родом сочувствия, уходящего в глубины истории, пересекающего границы регионов и государств и даже выходящего за пределы планеты, как в стихотворении Браконецкого «Отчизны»:

*Он спрашивает разве мы не братья по городу  
по крещенью по вере в ближайшую родину  
показывает мне фотографии родителей  
которые умерли от тоски в Германии  
я показываю ему фотографии мамы и бабушки  
по возвращении из Киргизии  
Но зачем  
если везде один и тот же  
отработанный пафос бренности  
и хаос малой и великой памяти  
а то что нас объединяет — вне земли*

Формула, предписывающая искать свое место в мире, сегодня больше акцентирует понятие «мир», чем понятие «свое», что не значит, будто «свое» не имеет значения.

Быть может, универсальность экзистенциального опыта сильнее заявляет о себе в поэзии и эссеистике, чем в прозе, хотя без сомнения и здесь она довольно отчетлива: будь то романы Ольги Токарчук, «Эсфирь» Хвина, «Funebre» Кшиштофа Мышковского, «Закаты и рассветы» Петра Шевца или «Слезы» Гжегожа Струмыка — везде текущее время вписано во «внеземной» ритм. Чувство общности с «иными» — как, скажем, в «Словах чужака» Свидерского — не противоречит собственному самосознанию. С той только разницей, что это уже самосознание не изолированное, не сосредоточенное исключительно на собственном «я». Это самосознание, открытое новому опыту.

## ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

В первом за этот год номере варшавского (но созданного в 80-е гг. в Париже) ежеквартального журнала «**Зешиты литерацке**» («Литературные тетради») опубликована статья Яна Котта «Полвека польской эссеистики» (написанная в 1990 г. по-английски как предисловие к изданной в Америке антологии), где мы читаем:

«В польской литературе последних пятидесяти лет самым полным и действительно своим голосом говорили поэзия и эссеистика. Или скажем по-другому: в поэзии и эссеистике опыт последних десятилетий нашел свое отражение и обдумывание, в высшей степени польское и одновременно универсальное. Пожалуй, не случайно так много польских поэтов занимались в эти годы эссеистикой как равноправным видом творчества, и не только Чеслав Милош; среди авторов этой антологии — Виттлин и Ивашкевич из поколения, рожденного еще в XIX веке, Александр Ват, родившийся в 1900 м, на рубеже двух столетий, Херберт, дата рождения которого относится к межвоенной Польше, и до самых младших — Баранчака и Загаевского, родившихся в первые два года ялтинского послевоенного порядка. Эссеистика и поэзия говорят от первого лица, даже если это первое лицо скрывается за всяческими стилистическими трюками. В польской поэзии этих лет лирический субъект упорно и многократно оказывается субъектом эпическим. (...) Поэзия очень часто, а польская эссеистика всегда — говорят о реальном мире. Опытом, запечатленным как шрамы от батога на коже, в высшей степени личной биографией они свидетельствуют об этом мире. (...) Поэты романтизма и модернизма зачастую повторяли, что художник — “изгнанник” в своей собственной стране. Он всегда “чужак”. Но эта “чуждость”, которая, словно плащ, всегда была лишь костюмом художника, стала будничной и обычной для десятков и сотен миллионов добровольных беглецов из домов “резни” или хотя бы всеобъемлющей скуки. (...) Но, выбирая эмиграцию, писатель не только соглашается быть “немым” среди чужих; еще труднее решиться отрезать себя — и никто из нас не знал, как надолго, — от родины и тех, кто читает тебя на родном языке».



Характеризуя составленную им антологию, Котт пишет:

«...этот том польских эссе был бы пуст, если бы в нем не говорилось о пустом месте, оставшемся после истребления еврейского народа на польских землях. Вот уже два века нравы, одежда и, что, пожалуй, еще важнее, иначе проявляющаяся живая вера отличали хасидов от всей прочей еврейской общины. Обычаям и легендам южной окраины старой Польши посвятил Станислав Винценц свои книги “На высокой полонине”. По почтению и почти что нежности к культурам, подвергающимся исчезновению, я мог бы сравнить их только с “Печалью тропиков” Леви-Стросса, ибо наряду с “Хасидскими повестями” Мартина Бубера это одновременно запись памяти и надгробный камень. О той “ране”, стыдливой и затянувшейся, но все еще по временам болезненной, какой стал для поляков еврейский геноцид, говорит драматическое эссе Яна Блонского со взятым у Милоша названием “Бедные поляки смотрят на гетто”».

Как бы дополнением к эссе Я.Котта служит подборка высказываний о посмертно изданном в книжной серии **«Зешитов литерацких»** сборнике эссе Збигнева Херберта «Лабиринт у моря», третьем после «Варвара в саду» и «Пейзажа с удочкой», признанном одним из крупнейших литературных событий последнего времени. Павел Ключовский, объясняя свое прочтение, пишет:

«Почему лишь теперь, два года спустя после смерти поэта, мы наконец получили эту замечательную книгу? Почему поэт затягивал с ее изданием? Время интеллектуальной, нравственной и эстетической восприимчивости человека ограничено. С античностью Херберт встретился в ранней молодости, она сформировала поэта и дала ему критерий величия — и он всю жизнь стремился заплатить свой долг и свидетельствовать свою любовь. Тому, кто стремится к совершенству, трудно расстаться с темой. Известно, что Херберт хотел написать еще несколько эссе — в частности о Фермопилах, том месте, где пали прославленные триста бесстрашных и где помещена надпись: “Прохожий, пойди и скажи Спарте, что, верные ее законам, мы тут упокоились”. Но сама античная тема слишком глубоко укоренилась в душе поэта, чтобы он мог хоть когда-то с ней расстаться и сказать, что он воздал ей все по справедливости. Завершение и совершенное исполнение вообще, пожалуй, ему не были суждены. (...) Эссе об Акрополе и “душеньке”, т.е. о величии в сопоставлении с нашим писклявым и ничтожным “я”, — это лучшее доказательство в пользу тезиса, что ирония Херберта

обращена в сторону субъекта, а не объекта поклонения. Херберт всегда предпочитает посмеяться над собой, а не над предметом своей любви. Он идет против течения эгалитарных поползновений нашей эпохи, ибо наш эгалитаризм слишком часто вырастает из мстительности. (...) Херберт лечит от мстительности, учит мужеству, справедливости и великодушию. Мстительность подсказывает человеку, чтобы он отомстил тому, что выше его, за то, что оно не дает ему покоя и неустанно призывает одолевать препятствия. Мстительность говорит, что если классическое гуманистическое воспитание не спасло XX век от варварства, то его следует высмеять. Херберт, наоборот, утверждает, что если античность не спасла нас от варварства, то, видимо, либо она вообще не была усвоена, либо усвоена плохо. Говорят, что если голова ударяется о текст и слышен пустой звук, то это не обязательно свидетельствует, что пуст текст, — возможно, пуста голова. Расписанное на множество голосов повествование Херберта о встрече с классиками исходит из посылки о том, что голова пуста, а классики полны мудрости и красоты. Преклонение перед античностью? За этим истертым шаблоном скрывается множество чепухи и недоразумений. Надо уметь точно различать и определять. Херберт ненавидит помпезность, монументальность и торжество величия, т.е. все, перед чем в античности преклонялся, например, Муссолини. Вопреки грубым империалистам, Херберт славит колыбель Европы, хрупкую и филигранную миносскую цивилизацию, жизнь которой была игрой и развлечением. (...) Греция Херберта — это Греция мифов, культов и трагедий, что, кстати, сводится воедино, ибо миф поставляет сценарии как культам, так и трагедии. В мире Херберта, как и в мире трагедии, время стоит на месте, а драмы Антигоны, Марсия, Минотавра или Ореста постоянно возобновляются в новых поколениях и новых костюмах».

А вот слова Адама Загаевского:

«Необычайное очарование эссеистике Херберта в значительной мере придает его угол зрения. Мы всегда на полпути между предметом — будь то наскальные росписи из Ласко, храм в Пестуме, малоизвестный голландский художник Торренций, Крит или греческий пейзаж — и личностью рассказывающего. Эссеистики Херберта не было бы без этой встречи. Он никогда не писал о себе — всегда о том, чем он восхищался и что открывал; его никогда не интересовало сочинение чего-нибудь вроде изысканного туристического путеводителя или исторического труда — он всегда представлял читателю и себя самого. Но представлял он себя иначе, нежели обычно делают

авторы путевых очерков, — он показывал себя всегда несколько иронически, комедийно, словно исходя из уверенности, что в своих путешествиях он видит и описывает вещи такие великие, такие неопровержимо прекрасные и величественные, что вынужден уравнивать их описанием недорогого ужина, заурядного бифштекса, поездки на пароходике, ошибок, усталости, моментов равнодушия. Перед соборами Херберт ставит свою домашнюю мастерскую, несет с собой свое несовершенство. Он отправляет в путешествие по легендарным краям не высокомерного профессора археологии, а мистера Пиквика. В этом-то и есть поэзия — в сопоставлении недвижимых шедевров и подвижного путешественника, искренне пишущего о том, что его захватывает и что ему время от времени нравится меньше. (...) Некоторые страницы этой прозы, например приезд на Крит, принадлежат к самым прекрасным из написанных по-польски; Херберт-странник обладает даром записывать свои первые минуты в чужих городах с такой проникновенностью, что одновременно говорит нам, как мы познаём незнакомый город и как мы живем на Земле между сном и явью».

Совершенно по-иному находит свое место между реальным и воображаемым Станислав Лем: в замечательном цикле «Лесных рассуждений», публикующемся во вроцлавском журнале «Одра», он старается вывести из современного состояния науки ее возможные в будущем последствия. Этот тип эссеистики, на вид далекий от словесности, погруженной в культурные традиции, представляется отличным дополнением поисков Херберта и других авторов, выводящих свои размышления о природе человека и его творений из прошлого. Лем, одаренный самоиронией и с изумлением обнаруживающий, как его самые фантастические — как казалось много лет назад — идеи ныне воплощаются в жизнь, не щадит предостережений насчет динамичного развития технологии. В «Лесных рассуждениях. ХCVIII», помещенных в февральском номере журнала, он констатирует:

«Технологические перевороты происходят сейчас с таким ускорением, что размах перемен в жизни нашей цивилизации, уже становящийся нашим уделом, не слишком поддается наблюдению. (...) Под рубрикой “Биотех” появляются котировки крупных, главным образом американских, предприятий как в биржевых бюллетенях, так и на страницах научной периодики. Если 30 лет тому назад я был предтечей технического вторжения в вопросы наследственности жизни, если в своих эссе я предполагал, что мы сумеем усвоить конструкторские методы жизни и достичь порога

саморазвивающейся эволюции, если в фантастических произведениях я злорадно показывал разнообразие безумств, в которые способен воплотить человек свой плагиат естественной эволюции, то одновременно я совершил непростительную ошибку, ибо вообще не отдавал себе отчета в том, что наследственное вещество двух миров: растений и животных, а значит, и людей, — почти немедленно после расшифровки кода наследственности обретет товарную ценность. Нынешнее положение дел таково, что — в то время как экологи, гуманисты, интеллектуалы, Церкви возражают против авантюризма ученых, которые, расшифровав геномы дрожжей и человека и не удовлетворившись этим, начинают складывать из нуклеиновых кирпичиков хромосомы, каких еще не было, — достаточно открыть такие журналы, как “Сайенс”, чтобы увидеть полосные рекламы могущественных фирм, таких, как “Герон”, “Циферген” (компания, занимающаяся обработкой протеиновых чипов) или лабораторный комплекс “Кендро”. Такого рода учреждения множатся с необычайной быстротой, одновременно подвергаясь разветвлению по специализации: на фармакогенетику, электромолекулярную и катализную биологию... — не буду продолжать перечисление, а то от такого наводнения голова может закружиться. (...) Напор геномового товара в конечном счете уже настолько необратим, что этически обоснованные протесты оказываются напрасными. Одновременно проводятся научные конференции, на которых обсуждается следующая фаза исследований, уже выходящих за рамки генома человека («beyond the human genome»). Кого изумляет, а кого пугает та легкость, с которой одно за другим государства, например Великобритания или Италия, дают разрешения на экспериментальное клонирование материнских клеток человеческих зародышей. По сути дела неизвестно, что главным образом стоит за такими шагами законодателей — доверие к ученым или крупный капитал. Мне кажется, что извержение этой биоиндустриальной деятельности — производная обоих названных факторов. В то время как общество (например в Германии) опасается генетически улучшенных помидоров и свеклы, ведущие исследователи уже говорят о следующей главе познания архитектоники жизни, озаглавленной «proteom project». Ибо гены невероятно искусным и почти еще неизвестным образом управляют миллионом аминокислот, представляющих собой особого рода живое вещество. Никто еще не знает, что станет будущим этапом подобных работ. Мне кажется, что нас несет в будущее стремительный поток, который в этом третьем тысячелетии может оказаться для наших судеб Ниагарой».

По каким-то непонятным мне причинам эссе Станислава Лема не входят в состав важнейших антологий польской эссеистики. Между тем представляется, что «зондирование» будущего, далекое от безумств «футурологии» и опирающееся на уже заметные тенденции развития человеческой мысли и предприимчивости, столь же важно и интересно, как и прочтение уроков былых времен. Проекция будущего так же важна, как прочтение прошлого, — обе картины взаимообусловлены, обе, кстати, не дают особых оснований для оптимизма: они открывают нам величие природы и мощь творческих сил человека, воплощенную в его делах, но в то же время обнаруживают человеческую слабость, все чаще выражающуюся в обычном корыстолюбии, по-ученому называемом получением прибыли. Лем ясно предостерегает: эта прибыль может оказаться в конечном счете потерей — утратой человечности, той есть той ценности, которую стремится спасти в своей эссеистике Збигнев Херберт.